

**БИБЛЕЙСКИЕ ОБРАЗЫ
В ПОЭЗИИ Ф.И. ТЮТЧЕВА И А.А. ФЕТА**

Iaroslava Rizea

Библия есть вся мудрость мира, поэтому в любой книге мы найдём цитату или ссылку, вольную или невольную. В культуре стран христианской ориентации библейские образы, темы и мотивы нашли отражение во многих произведениях мировой литературы и искусства. Русская литература в этом отношении не представляет исключение. На неё глубоко и сильно повлияла православная вера.

Православную культуру с полным правом можно считать культурой совести, так как она утверждает абсолютную ценность человеческой личности, приоритет её божданных и неотъемлемых прав, основанных на вере во Христа Спасителя и следовании Его заповедям.

Христианство во многом определило общий пафос русской классики, формы её гуманизма, народолюбия, образную систему, поэтику и стиль до мельчайших элементов, хотя, конечно, у разных писателей по-разному. XIX век поистине особое столетие, открывающее миру сокровище духовной культуры. Во многих произведениях великих русских писателей отражено их христианское отношение к жизни, христианская нравственность, отражены их религиозные взгляды, даны библейские образы.

Ф.И. Тютчев и А.А. Фет – два известных поэтов-романтиков в основе творчества которых лежит вера в изначальность божественной природы мира, выражены православные нравственные ценности (любовь к людям, добро, милосердие, смиление).

Фёдор Иванович Тютчев (1803-1873) - гениальный русский поэт, личность бесспорно ориентированная в православном духе. Его мировоззрение предельно религиозное и христианское.

Современники Тютчева видели в нём, собственно, поэта природы, потому что никогда до него в русской литературе природа не играла такую большую роль, фундаментальную роль. Но у Тютчева нет описания природных явлений, он стремится передать эмоции, которые вызывает природа и которые вновь переносится на природу. На поэзию Тютчева следует смотреть скорее как на философскую и метафизическую, нежели как на «искусство для искусства». Несмотря на хвалебные слова о Тютчеве из уст Тургенева и Толстого («без него нельзя жить»), он практически был забыт и заново открыт в конце XIXв. символистами (Вл. Соловьёв). Для них Тютчев был провидцем, визионером и мистиком, который в своей поэзии нашупал глубочайшие корни бытия. Они называли его «первым русским символистом».

Тончайший мастер вдохновенных стихов, рисуя картины природы, поэт размышлял о загадках мироздания и вековечных вопросах человеческого бытия. Открывая неповторимую красоту не только очевидных, но и скрытых от обычного глаза явлений, поэт подчёркивал неисчерпаемость и загадочность земного и космического мира. В своих стихотворениях он затрагивает темы хрупкости человеческих отношений, бренности человеческих деяний, противоречий между переходным характером человеческой деятельности и вечным существованием природы, между духом и материей (*Сон на море, Через ливонские я проезжал поля, Цицерон, Не то, что мните вы, природа...* и др.) Между природой и человеком существует трагическое различие. Природа вечна, неизменна. Не таков человек. Он «царь земли» и в то же время «мыслящий тростник», быстро вянущий «злак земной».

Тютчевская природа – это не столько пейзаж, в котором действуют конкретные лица, а космос, где выступают самостоятельные силы мироздания. Поэт сравнивает природу с целой стихией, которую не удержит никакая сила, и ничто не сможет противостоять ей. С этим связано обращение Тютчева к «ночной» теме. Именно ночью, пологал

он, наступают минуты, когда человек остаётся один на один перед вечным миром. В эти минуты он остро чувствует себя на краю бездны и особенно напряжённо переживает трагедию своего существования: «О чём ты воешь, ветр ночной?/ О чём так сетуешь безумно?.../ Что значит странный голос твой,/ То глухо жалобный, то шумно?.../ О, страшных песен сих не пой/ Про древний хаос, про родимый!/ Как жадно мир души ночной/ Внимает повести любимой!/ Из смертной рвётся он груди,/ Он с беспребельным жаждет слиться!../ О, грудь заснувших не буди —/ Под ними хаос шевелится!.. (1830 г.)¹ Поэт воспринимает мир как древний хаос (некую тёмную первозданную стихию), а всё видимое, сущее – это лишь временное продолжение этого хаоса. Хаос, заключённый в мироздании – непостижимая тайна, которую природа скрывает от человека.

С чрезмерной поэтической силой поэт умел расслышать таящиеся в глубочайших глубинах душевных греховные противоречивые состояния, безумно тяготеющие к бесформенному небытию, к хаосу, от которого веет ужасом бесовской тьмы, беспребельной безликоности – обезбоженной беспребельности. Бездны космоса подавляют душу человека чувством, коему нет определения: «Настанет ночь – и звучными волнами/ Стихия бьёт о берег свой// ... Прилив растёт и быстро нас уносит/ В неизмеримость тёмных волн// Небесный свод, горящий славой звездной/ Таинственно плывёт из глубины, – / И мы плывём, пылающею бездной/ Со всех сторон окружены.» (1830). Тютчев писал с ощущением, что человечество висит над пропастью, которая каждое мгновение готова навсегда поглотить его: «И человек, как сирота бездомный,/ Стоит теперь, и немощен и гол,/ Лицом к лицу над пропастью темной». (1850 г.). (Исследователи сопрекасали образы ночи, хаоса, бездны в поэзии Тютчева со сходными категориями в философии Шеллинга: недаром же в поэзии Тютчеава они ближе начальным годам, когда поэт близко познакомился с немецкою премудростью).

Тютчева как будто тянет заглянуть в бездну хаоса, где в лютом ужасе тьмы укоренный в душе грех сознаёт одноприродное ему

¹ Здесь и далее цит. по Ф.И.Тютчев, *Стихотворения. Письма. Воспоминания*, М., 1988.

начало: «Святая ночь на небосклон взошла,/ И день отрадный, день любезный/ Как золотой покров она свила,/ Покров накинутый над бездной./ И, как виденье, внешний мир ушёл...». (1850) Всё так отчётливо определено в этой знакомой образной системе – кроме одного: отчего ночь названа *святой*? Или оттого, что беспределная святость творения ещё глубже ощущается в ночной прозрачности? Или именно от соприкосновения с этой святостью ещё сильнее ужас собственного «наследья родового», греховного, беспределного?

Одна из важнейших страстей юных лет поэта – быстротекущее время; он был поражённым тайною всёмничтожающего Хроноса: «О время! Вечности подвижное зерцало!/ Всё рушится, падёт под данию твоей!... (...) Что может избежать от гнева Крона злого?/ Что может устоять пред грозным богом сим?» Лишь одно оставляет человеку неумолимость бездны времени: безнадёжную надежду мольбы. (*О время, погоди!*, 1855 г.). Время отожествляется с неумолимым роковым вихрем, безжалостно уничтожающий людское племя: «Из края в край, из града в град/ Могучий вихрь людей метёт,/ И рад ли ты, или не рад,/ Не просит он...Вперёд, вперёд!» (1834 г.) Бой часов вызывает образ времени не как естественного явления, а как какого-то невиданного существа и Тютчев формулирует вопрос: «Былое – было ли когда?» Времени нет. Пространство прозрачно. В оппозиции «небо» и «земля» нет информации о положении предметов относительного друг друга. Восприятие Тютчева точнее всего назвать апокалиптическим («Пришёл великий день гнева Его, и кто может устоять?» – *Откровение Св. Иоанна Богослова*: 6, 17). Поэт словно бы уже видел и передаёт в своих стихах предсказанное в *Апокалипсисе*, в том мире, где «времени не будет».

Одно из постоянно возвращающихся тем в поэзии Тютчева – спящее блаженство природы в слиянии с душой поэта. Но рядом с миром в состоянии покоя ставит он мир во время грозы. Образ грозы становится центральным и очень важным в связи с психологическими и философскими темами в творчестве Тютчева. Гроза указывает на демоническое начало в природе, на роковое, трагическое, хаотическое в природе и в человеке. Исследователям ткань тютчевской поэзииказалось противоречива, хотя и глубоко гармонична. Творчество

Тютчева – поэзия контрастов: север против юга, холод и мрак против ясности, зима и стужа против лета и тепла. Тютчев также охотно подчёркивает переходные состояния между такими контрастами. Эту контрастную разработку тем находим мы также в стихах о любви. С одной стороны, его любовная лирика свидетельствует о даре вживаться в чувства возлюбленной (*Я помню время золотое, О, как убийственно мы любим, Последняя любовь*), любовь предстаёт как возвышающее человека духовное чувство, с другой – любовь это могучая, слепая страсть, которая губит, подобно грозе и становится «поединком роковым» для влюблённых; это некая ночная стихия, напоминающая о древнем хаосе; она звучит то как тревога, то как предостережение, то как горестное признание. Отсюда мотив одиночества и тишины (*Silentium!*)

Таким образом, в лирике Тютчева находим два доминирующих мотива: человеческая любовь и красота природы – и нечеловеческая любовь, скорбь, ощущение конца. Он был поэтом не только любви, но и тоски, скорби и душевной боли. Расставание с любимым человеком, уносимым смертью, ведёт к непосильному страданию, и здесь Тютчев ощущает силы мрака и ночи: «И бездна нам обнажена/ С своими страхами и мглами,/ И нет преград меж ней и нами:/ Вот от чего нам ночь страшна» (1837 г.).

Читая Тютчева создаётся впечатление, что христианская и языческая стихии борются непрестанно в душе поэта. «С одной стороны, безнадёжность, сомнения, stoическое молчание и языческий хаос в восприятии природы; с другой – безусловно христианское, самое сокровенное и главное в жизни поэта: любовь к другому существу, которая приносит радостное упоение избытком жизни»¹; увлечённость красотой бытия, вера в целесообразность мира и его предустановленную гармонию.

И.С. Аксаков (первый биограф поэта) утверждает, что неустойчивость, тягостная раздвоенность составляли свойства собственной натуры Тютчева. В наши дни бельгийский учёный-славист Э. Вагеманс, приблизительно того же мнения, считая, что

¹ С.Н. Милорадович, *Языческая и христианская стихия в поэзии Ф.И.Тютчева // Русская литература века и христианство*, М., 1997, с. 317.

«мировоззрение Тютчева выглядит чрезвычайно противоречивым: он чувствовал себя близким славянофилам, но пренебрегал их «доктринерским» обедами; как и они, он видел силу России в сильной монархии и глубокой религиозности народа, но сам был убеждённым западником и осуждал абсолютистский произвол («Россия – страна кнута и казармы») и не был очень уж верующим. Он ясно видел близящуюся катастрофу, но утверждал, что Россия выдержит бурю (*Море и утёс*). Он испытывал большой интерес к социальным переменам своего времени, но вместе с тем и страшился их. Этот раскол в сознании лёг в основу его оригинальной, ярко индивидуальной поэзии.»¹

Исследователь В.В. Кожинов (другой биограф Тютчева) полагал, что, судя по внешним признакам, «Тютчев жил на грани веры и безверия»². Какие-то осколки, тени языческого мышления вкрапливаются изредка в цельность мироизречания Тютчева, пусть как выражение лишь метафорического осмыслиения бытия, не более. «Угоден Зевсу бедный странник,/ Над ним святой его покров!.../ Домашних очагов изгнаник/ Он гостем стал благих богов!...» Без упоминания имени Зевса и «благих богов» эти строки можно было бы осмыслить в христианском духе без труда. Парадоксально: третья строфа этого стихотворения в основе противоречит первым двум, так как от многобожия контрастно обращает мысль к славлению единого Бога: «Через веси, грады и поля,/ Светлея, стелится дорога, –/ Ему отверста вся земля,// Он видит всё и славит Бога!...» (1830 г.).

Многие натурфилософские образы в поэзии Тютчева, конечно, восходят к традициям античной мысли, но не следует забывать и о том, что христианство унаследовало лучшие идеи в наследии Платона и Аристотеля, а в язычестве были прообразы и превосхождения христианства. Как бы ни воспринимать те или иные образы поэзии Тютчева – основной вектор стремления его души обозначен был вполне определённо. Он познал человеческую душу на пороге, на

¹ Э. Вагеманс, *Русская литература от Петра Великого до наших дней*, М., 2002, с. 119-120.

² В.В. Кожинов, *О тютчевской плеяде поэтов*, в *Поэты тютчевской плеяды*, М., 1982, с. 3-19.

зыбкой грани между непримиримыми проявлениями бытия, и с верою утверждал: «Пускай страдальческую грудь/ Волнуют страсти роковые –/ Душа готова, как *Мария*,/ К ногам Христа навек прильнуть» (1855 г.).

Трагическое мироощущение, пессимизм поэта в представлении которого гибла вселенная, распадалось время, уничтожалось пространство, похож на пессимизм его современника со столь же обострённым ощущением катастрофичности бытия – Достоевского. «Такой ужас (как и ощущаемый разлад с гармонией природы) может возникнуть лишь тогда, когда человек перестаёт, пусть даже на миг, ощущать Творца в творении. (...). Человеку, посмевшему лицом к лицу противостоять этому ужасу безграничности окружающей, опорою может стать единственно ощущение и сознание непосредственной связи с Творцом – и горе тому, кто в небрежении утрачивает такую связь».¹ Тютчев несомненно стремился утвердить в душе своей такую опору – даже при мысли об ужасе конца земного бытия: «Когда пробёт последний час природы,/ Состав частей разрушится земных:/ Всё зрячее опять покроют воды,/ И Божий лик изобразится в них!» (1829 г.). И даже в стихах об ужасе тьмы ночь названа *святою*, что свидетельствует о том что, беспредельная святость творения ещё глубже ощущается в ночной прозрачности, когда «свит застилающий зреине дневной покров».

Говоря о языке природы, поэт скорее разумеет её способность свидетельствовать о Божием деянии, он, несомненно, видит в природе отсвет Божией славы. Собственно, способность слышать голос природы есть свойство христианского средневекового мировосприятия, когда в каждом проявлении тварного мира человек стремился и был способен сознавать символическое проявление Божественной мудрости. Это видение мира и отображено у Тютчева: «Сей дивный мир.../ С разнообразием своим/ Лежит развитый.../ В утеху, пользу, назиданье... (1830) «Святитель Григорий Богослов выразил когда-то ту же мысль: «Небо, земля и море есть великая, дивная книга Божия»². Каждый образ этой книги становится при таком отношении к миру

¹ М.М. Дунаев, *Православие и русская культура*, М., 1997, с. 372, 374.

² Цит. по М.М. Дунаев *Православие и русская культура*, М., 1997, с. 377.

знаком-словом обращённым к сакральному смыслу творения. Тютчев был убеждён в идее общей одушевлённости природы, он верил в её таинственную жизнь. Поэтому он изображает природу как некое одушевлённое целое (*Полдень*, 1829, *Весенние воды*, 1830, *Осенний вечер*, 1830). Увлечённость красотой бытия устремляет художника в сторону пантеизма: «Не то, что мните вы, природа:/ Не слепок, не бездушный лик —/ В ней есть душа, в ней есть свобода,/ В ней есть любовь, в ней есть язык...»(1836 г.).

Считается, что религиозно-философское мировоззрение поэта формировалось под сильным влиянием «философии откровения» и неоплатонической мистики Ф. Шеллинга. По мысли Шеллинга, изначальная целостность всего сущего, всей природы, которая является единым организмом, коренится в «Мировой Душе» (не живое рождается из неживого, а наоборот, согласно библейскому учению и христианской космогонии). Отсюда чувство всёединства, космическое создание, отождествление Бога и вселенной. Тютчев ищет и обретает в природе проявление всемогущего Творца: «Он милосердный, всемогущий,/ Он греющий Своим лучом/ И пышный цвет, на воздухе цветущий/ И чистый перл на дне морском» (1865 г.).

Вся поэзия Тютчева свидетельствует о том, что поэт стремится прозреть Творца в Его творении. Он же сознаёт едва ли не с отчаянием: «не дано ничтожной пыли/ Дышать божественным огнём». А если и удаётся что-то постигнуть, то – трагический парадокс – он, великий поэт, ощущает своё полное бессилие в слове выразить своё богатство, сложность и противоречивость собственных постижений, настроений, стремлений, мыслей: «Молчи, скрывайся и тай/ И чувства и мечты свои – (...)/ Как сердцу высказать себя? / Другому как понять тебя?/ Поймёт ли он, чем ты живёшь?/ Мысль изреченная есть ложь.» (*Silentium*, 1830 г.) И перед самой уже смертью его разум и душа были объяты всем тем же: «Ах, какая мука, когда не можешь найти слова, чтобы передать мысль», эта фраза одна из последних, им произнесённых.¹

Взор Тютчева и в глубину души природы несомненно направлен с тем, чтобы узреть Творца в этом божественном творении.

¹ В.В. Кожинов, *Тютчев*, М., 1994, с. 477.

Вот стихи которые могут являться аргументом у противников такого осмысления: «Мужайся, сердце, до конца:/ И нет в Творении Творца»/ И смысла нет в молбе!» (1836 г.) Необходимо знать, что толкование отдельных строк стихотворений или механичность восприятия поэзии, извлечение лишь того, что лежит на поверхности – без понимания сложной энергии стиха – опасно. Так, например, цитируемые же строки есть лишь продолжение предшествующего трёхстишия: «И чувства нет в твоих очах,/ И правды нет в твоих речах,/ И нет души в тебе.// Мужайся, сердце, до конца»... и т.д. То что на первый взгляд можно осмыслить как проявление греха тут только упрёк некой особе, отвергающей любовные притязания поэта. Нет никаких оснований вкладывать в эти строки особый богоchorеский смысл. Содержание стихотворения таково: нет смысла молить тебя о чём-то, потому что у тебя нет ни истинного чувства, ни правды, ни даже души; надо быть мужественным до конца и признать, что молить тебя о любви бессмысленно, поскольку в бездушном создании нет и Бога, и оттого и молиться некому.

Говоря о своём горе, о потере любимой женщины и о воспоминании, которое наполняет жизнь каждого дня, Тютчев показывает, что сердцем он знал как подлинный христианин о просветляющем лице страдания. И в этом, на наш взгляд, главный, или самый существенный его подход к христианству (несмотря на скептицизм и на периоды уныния). (Поэт обращается к своему сердцу: «Душа готова, как Мария,/ К ногам Христа навек прильнуть.»)

Замечательно, что Тютчев говорит это, имея в виду не только себя, но и Россию. Для русского народа он видит спасение и помощь в искупительном *страдании*, в подражании и следовании искупительному подвигу самого Христа. В этом глубинный смысл знаменитых строк: «Удрученный ношей крестной,/ Всю тебя, земля родная,/ В рабском виде Царь Небесный/ Исходил, благословляя.» (1855 г.) «Испукающая, мистическая сила страдания, которая открывается верующему христианину через ощущение близости к русским в страдании страдающего Христа, – вот в чём *богословская квинтэссенция поэтических прозрений Тютчева*. Он очень верно выражал это центральное, краеугольное для христианской сoterоп-

логии (учение о спасении) положение»¹. Поэт-философ проповедует страдание, как залог счастья, ведь не будь одного, не было бы и другого.

К образу Христа Спасителя поэт возвращается постоянно. Ещё в 1857, в самом начале крестьянской реформы, он взволнованно пишет: «Но старые, гнилые раны,/ Рубцы насилий и обид,/ Растворение душ и пустота,/ Что гложет ум и в сердце ноет, —/ Кто их излечит, кто прикроет?...» Поэт, пророк — утверждает: «Ты, риза чистая Христа!» (1857 г.) Истина Христова соединялась для Тютчева всегда и неизменно с *Православием*, и только с ним: оскудение веры и измена Христу виделись ему у стоящих вне православного понимания Христова учения. Он был убеждён, что без веры человеку невозможно подлинно существовать в мире. В этом единственно истинная причина трагизма человеческого бытия. Где сильна *вера* — трагедии нет и быть не может.

Православие неразрывно связывалось у поэта с пониманием *Святая Русь*. Христова вера и Русь признавались Тютчевым безусловно высшими духовными ценностями: «День православного Востока/ Святой, святой, великий день,/ Разлей свой благовест широко/ И всю Россию им одень!» Русская земля — святая, ибо несёт в себе благословение Спасителя. Смирение Святой Руси — от смирения самого Христа, явившего высший образ, идеал смирения. Если Россия понимается как Святая Русь, а всякое обращение к святыни возносит мысль к Богу как началу всех начал, то не уму, а лишь вере посильно это в себя вместить: «Умом Россию не понять,/ Аршином общим не измерить:/ У ней особенная стать —/ В Россию можно только верить» (1866). Таким образом, Россию можно воспринимать лишь религиозно-инстинктивным чувством.

Тютчев даёт подлинное осмысление внешней скучности родной земли: за скучностью укрывается смиление, освящающее собою и *терпение, покорность* воле Христа. «Эти бедные селенья,/ Эта скучная природа —/ Край родной долготерпенья,/ Край ты русского народа!» (Не забудем: «Идти за Христом значит нести свой крест» — *Матфея*, 10:38).

¹ С.Н. Милорадович, *Указ. соч.*, с.319.

И.С. Аксаков писал о Тютчеве: «в основе его духа жило искреннее смирение (...) преклоняясь умом перед высшими истинами Веры, он возводил смиление на степень философско-нравственного принципа».¹

Иногда Тютчев упрекает себя в недостоинстве его перед Богом, отчего его презрение к человеческому «я», и тогда его смиление предстаёт ещё глубже: «Чертог Твой, Спасителя, я вижу украшен, / Но одажд не имею, да вниду в него» (1872 г.). Эта поэтическая реплика на известный текст одного из песнопений страстной седмицы роднит внутреннее самоощущение Тютчева с тем, что видим мы у других русских поэтов – вспомним пушкинское «Напрасно я бегу к сионским высотам...».

Тютчев несомненно знал, где и в Кем человек может обрести надежду на жизнь, на время, на будущее. Но чтобы обрести эту надежду, необходима вера и поэт ставит проблему, важную для всех времён: раскрывать сущностную причину всех бед и страданий человеческого «я», как и его, поэта, собственной муки: «Не плоть, а дух растлился в наши дни,/ И человек отчаянно тоскует.../ Он к свету рвётся из ночной тени/ И, свет обретши, ропщет и бунтует./ Безверием палим и искушён,/ Невыносимое он здесь выносит.../ И сознаёт свою погибель он,/ И жаждет веры – но о ней не просит...»// Не скажет ввек, с молитвой и слезой,/ Как ни скорбит перед замкнутой дверью:/ «Впусти меня! – Я верю, Боже мой!/ Приди на помошь моему неверию!» (1851 г.). Поэт прямо опирается здесь на *Евангелие*, несомненно указывая на причины немощи человека перед жизнью, перед миром, перед роком. «Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию» (*Марк*, 9: 23, 24).

Вера укрепляется словом Божиим – и как бы ни был уверен в себе человек, опирающийся на свою волю и свою силу, он не сможет обойтись без упования на высшую силу и высшую мудрость: «Но скучны все земные силы:/ Рассвирепеет жизни зло –/ И нам, как на краю могилы,/ Вдруг станет страшно тяжело.// Вот в эти-то часы

¹ И.С. Аксаков, *И слово правды...*, Уфа, 1986, с. 235.

с любовью/ О книге сей ты вспомни –/ И всей душой, как к изголовью/
К ней припади и отдохни.» Упоминаемая тут *книга* – *Новый Завет* (стихотворение так и названо: *При посылке Нового Завета*, 1861 г.). Обладание верою в укрепляющую человека силу, Тютчев безусловно видит доступным лишь тем, кто следует заповедям Христа, – и такое его убеждение было естественным и единственным возможным для христианина: «И эта вера не обманет/ Того, кто ею лишь живёт (...). Но этой веры для немногих/ Лишь тем доступна благодать,/ Кто в искушеньях жизни строгих,/ Как вы, умел, любя страдать,// Чужие врачевать недуги/ Своим страданием умел,/ Кто душу положил за други/ И до конца всё претерпел» (1870 г.) Завершение стихотворения есть неявное цитирование, парофраз слов Спасителя: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (*Иоанн, 15:13*), «Претерпевший же до конца спасётся» (*Матфей, 10:22*). Итак, вера может противостоять даже разрушающему действию времени: «Не всё, что здесь цвело, увянет, / Не всё, что было здесь пройдёт!»

Усиленное жизненным опытом смирение Тютчева утверждалось также и в его эстетическом освоении и осмыслиении мира – и всё более укрепляло поэта в убеждении, что без веры человеку невозможно подлинно существовать в этом мире. (Тютчев часто, особенно в письмах и статьях, подчёркивал положительную роль религии и церкви в духовном и нравственном складе России, которые казались ему необходимыми для благоустройства государства). По мнению поэта, гордыня источник зла, смирение – основа спасения, без которой оно невозможно. В этом смысле Русь – страна смирения – противопоставлена горделивому Западу.

Хотя Тютчев провёл двадцать два года в Западной Европе (и возвратился в Россию когда ему было уже пятьдесят лет), он не был поклонником западной цивилизации, а наоборот. Кроме ряд политических стихотворений (как, например: *На взятие Варшавы, Нет – мера есть долготерпенью...*) Тютчев написал и статьи по политическим вопросам (*Россия и Запад, Россия и революция*). Он доказывал, что Россия особый мир, с высшим политическим и духовным призванием, перед которым должен со временем преклониться Запад. Именно в Православии поэт видел высшее

просветительное начало, залог будущности для России и всего славянского мира и полагал, что духовное обновление возможно для Запада только в возвращении к древнему вселенскому преданию и древнему церковному единству. «Золотой луч Свободы» (в высшем религиозном понимании) наступит только там, где отступит и смирится *горделивое Я*. Запад в этом отношении представляется Тютчеву безнадёжным.

Значительные годы провёл Тютчев в лютеранской Германии и католической Испании – и именно в особенностях религиозной жизни усмотрел он причины духовного тупика, в котором оказался Запад. Знаменитое стихотворение *Я лютеран люблю богослуженье...* (1834 г.) обманчиво апологично своей первой строфой. Не всякий сразу почувствует здесь иронию: «Я лютеран люблю богослуженье,/ Обряд их строгий, важный и простой –/ Сих голых стен, сей храмины пустой/ Понятно мне высокое ученье.» Но «люблю» здесь – значит: «Ценю так как понимаю истинный смысл, ибо в этой внешней пустоте нет обмана, но есть отражение внутренней пустоты». А что именно именно так – раскрывается в последующих строках: «Не видите ль? Собравшися в дорогу/ В последний раз вам вера предстоит:/ Ещё она не перешла порогу,/ Но дом её уж гол и пуст стоит...» Последняя строка второй строфы явно отсылает нас к раскрывающим смысл стиха словам Христа: «Сколько раз хотел Я собирать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (*Матфей*, 23: 37-38). Вера покидает этот дом, и скоро он останется обезбоженным бесповоротно. Остаётся лишь мёртвая форма – без жизни, без одухотворяющего начала, достойная сожаления и печальной иронии, какую видим мы в стихотворении *И гроб опущен лишь в могилу*, 1836 г.

Ирония Тютчева переходит в гневной сарказм когда идёт речь о католицизме. В католическом отступничестве он видит «тяжкий тысячелетний грех» (Стихотворение *Свершается заслуженная кара...*, 1867 г.). Тютчев нигде не говорит о «разделении Церквей», но всегда об отделении, отступничестве католического мира от единства веры, от Православия. «Привязанная к чисто земным интересам, католическая церковь оказывается поглощённой, по убеждению Тютчева, даже не

человеческим Я, но римским Я – что ещё мельче и губительнее для неё. Там, где господствуют земные интересы, человек отрывается от Бога и оказывается предоставленным самому себе, его же Я оказывается «противным Христу по существу».¹

Должно признать, что взгляды Тютчева весьма родственны тем идеям, которые несколко позднее будет развивать Достоевский. Своё понимание папизма как тёмной греховностью, как отступление от христианства поэт незадолго до смерти ясно выразил в строках стихотворения *Ватиканская годовщина* (1871 г.): «Но нет, как ни борись упрямо,/ Уступит ложь, рассеется мечта,/ И ватиканская далайлама/ Не призван быть наместником Христа.»

Для поэта, как и для будущего романиста, революция – разрушительная и губительная для бытия человека дьявольская приманка. О революции Тютчев, в специально посвящённой ей статье (*Россия и революция*, 1848 г.), писал: «Революция – прежде всего враг христианства! Антихристианское настроение есть душа революции, это её собственный, отличительный характер (...). Тот, кто этого не понимает, не более как слепец, присутствующий при зрелище, которое мир ему представляет (...). Чувство смирения и самоотвержения, составляющее основу христианства, она намерена заменить духом гордости и превозношения, благотворительностью вынуждённой».²

От магизма к единобожию – вот лейтмотив тютчевской поэзии. Мистерия борьбы и сопряжения различных космических начал и стихий, прежде всего земли и неба, несмотря на явные пантеистические мотивы, охвачена в поэзии Тютчева единым духовным полем. Это удивительное духовное поле созидается непрекаемой верой в Бога-Творца, Зиждителя и Промыслителя всего сущего, верой во Христо-Богочеловека, воплотившегося на земле в рабском виде, но грядущего «со славою судить живых и мёртвых, Его же царstвию не будет конца». Таково в конечном итоге исповедание Тютчева-поэта и мыслителя, художника и богослова.³

¹ М.М. Дунаев, *Указ. соч.*, с. 402.

² *Там же*, с. 383, 403.

³ С.Н. Милорадович, *Указ соч.*, с. 323.

А.А. Фет (1820-1892), известный как «певец природы» создал стихотворения – лирические миниатуры –, всё назначение которых в стремлении передать читателю не столько картины природы, сколько мысли, чувства и настроение поэта, состояние человеческой души. Природа и люди – составные части единого мира, и через природу человек лучше понимает себя; описывая её, может полнее выразить собственное психологическое состояние. Но природа вечна (деревья «останутся холодной краской пугать иные поколения»), а человек смертен, и всё-таки он может учиться у природы стойкости, надежде на лучшее.

В раннюю поэзию Фета, воспевающую почти исключительно любовь и природу, (впрочем, любовная и пейзажная лирика составляют у него одно целое) вкраплись несколко стихотворений на религиозные темы: в частности, баллада о создании церкви Киево-Печерской Лавры по образцу видения, явившегося его строителям в воздухе, и три стихотворения в честь *Божьей Матери* (два сонета и краткое переложение *Ave Maria*). Первый сонет (*Владычица Сиона*) начинается с бескорыстной молитвы за любимую: «Молюсь за ту, кем жизнь моя ясна. / Дай ей цветсти, будь счастлива она –/ С другим ли избранным одна, или со мною». Поэт отказывается уступить любимую другому и связывает себя с ней «взаимными молитвами»: «О нет! Прости влиянию недуга!/ Ты знаешь нас: нам сужено друг друга/ Взаимными молитвами спасать». Второй сонет (*Мадонна*) посвящён Сикстинской Мадоне. («Картина Рафаэля в XIX веке, при полном забвении и незнании древнерусской иконы, считалась высшим выражением религиозной красоты: после Пушкина и Фета перед ней склонил колена Достоевский, а на заре уже XX века – Сергей Булгаков»¹). Картина производит на него религиозное действие, Бог посыпает ему духовные дары: «С тех пор, как Санцио передо мной/ Изобразил склоняющую вежды,/ И этот лик, и этот взор святой,/ Смиренные и лёгкие одежды, // И это лоно матери, и в нём/ Младенца с ясным, радостным челом, / О, как душа стихает вся до dna!/ Как много со святого полотна/ Ты шлёшь, мой Бог, с пречистою Мадонной!» (1842 г.). (К Сикстинской Мадонне Фет вернётся двадцать лет позже).

¹ Н. Струве, *Православие и культура*, М., 1992, с.213.

Религиозные мотивы юнного Фета как будто связаны с одним из его ранних увлечений, вероятно, Еленой Б., о которой он упоминает в своих воспоминаниях. К ней, видимо, обращены в 1843 году религиозно-примиренные стихи, пленяющие своей искренностью: «Как ангел неба безмятежный,/ В сияни тихого огня/ Ты помолись душою нежной/ И за себя и за меня// Ты от меня любви словами/ Сомненья духа отжени/ И сердце тихими крылами/ Твоей молитвы осени».

С годами Фет всё глубже погружался в философский мир, решающее влияние оказывая на него философ Шопенгауэр, правитель дум того времени («Для меня – писал Фет – он не только последняя крупная философская ступень, это для меня откровение, возможно, человеческий ответ на те умственные вопросы, которые возникают в душе каждого»¹). Вслед за Шопенгаузером, Фет ждёт избавления от страданий, присущих человеческому существу, в «прозрениях» и в «забвении».

Фет был причастен традиции переложения текстов *Священной Книги* – хоть он и не перелагал избранные места, а скорее отражал свои вольные фантазии на избранные темы. (Впрочем, в XIX веке это общая особенность такого рода поэзии). Красноречив пример одного из стихотворений Фета: переложение известного эпизода из *Евангелия от Иоанна* – искушение Христа фарисейским вопросом об участии грешницы (*Иоанн, 8: 1-11*). Поэт сводит всё к некому эмоционально-психологическому проникновению Сына Божия в Душу грешницы – и тем искаивает евангельскую мудрость: «Но Он на крик не отвечал,/ Вопрос лукавый проникая, И на песке, главу склоняя,/ Перстом задумчиво писал.// Во прахе, тяжело дыша,/ Она, жена-прелюбодеяка,/ Золотовласая еврейка/ Пред ним, грешна и хороша.// Её плеча обнажены,/ Глаза прекрасные закрыты,/ Персты прозрачные омыты/ Слезами горькими жены.// И понял Он, как ей сродно,/ Как увлекательно паденье:/ Так юной пальме наслажденье/ И смерть – дыхание одно.»

Едва ли не первый в русской поэзии, Фет переложил в стихах евангельский эпизод, а именно третье, последнее *искушение Христа*

¹ Цит. по Н. Струве, *Там же*.

«на горе»: «Когда Божественный бежал людских речей/
И празднсловной их гордыни,/ И голод забывал и жажду многих дней/
Внимая голосу пустыни,// Его, взалкавшего, на темя серых скал/ Князь
мира вынес величавый,/ «Вот здесь, у ног Твоих, все царства, – он
сказал, –/ С их обаянием и славой.// Признай лишь явное, пади к моим
ногам,/ Сдержи на миг порыв духовный –/ И эту всю красу, всю власть
тебе отдаю/ И покорюсь в борьбе неровной».// И Он ответствовал:
«Писанию внемли:/ Перед Богом Господом лишь преклоняй колени!»/
И сатана исчез – и ангелы пришли/ В пустыне ждать Его велений.»
(1874 или 1876 г.) Выбор темы говорит уже сам по себе о
взаимовлиянии между Фетом, Соловьёвым и Достоевским. (Как раз в
эти годы тема искушений Христа становится центральной и в
творчестве Достоевского, и в философских работах Соловьёва; стихи
Фета следут понимать и в свете этого широкого толкования искушений
Христа). Фет как будто опередил Соловьёва и Достоевского; у всех
троих, у поэта, писателя и философа было общее вдохновение.
Соловьёв писал: «Преодолев грех духа, Сын человеческий получил
верховную власть в царстве духа; отказавшись от подчинения земной
силе ради владычества над землёю, приобрёл себе служение сил
небесных» (*Чтения о Богочеловечестве*, 1877 г.). Годом позже, в
Легенде о Великом Инквизиторе, Достоевский, как некоторые
полагают, под влиянием Соловьёва, возвёл искушения Христа в
разгадку «всей будущей истории мира и человечества»: «думаешь Ты,
– обращается Инквизитор ко Христу, – что вся премудрость земли,
вместе соединившаяся, мошla бы придумать хоть что-нибудь
подобное по силе и по глубине тем трём вопросам?»

На старости лет Фет переложил в стихах *молитву Господю*:
«Чем долше я живу, чем больше пережил,/ Тем повелительней
стесняю сердца пыл, –/ Тем для меня ясней, что не было от века/ Слов,
озаряющих светлее человека:/ «Всеобщий наш Отец, Который в
небесах,/ Да свято имя мы Твоё блюдем в сердцах,/ Да приидёт
царствие Твоё, да будет воля/ Твоя, как в небесах, так и в земной
юдоли./ Пошли и ныне хлеб насущный от трудов,/ Прости нам долг: –
и мы прощаем должников,/ И не введи Ты нас, бессильных, в
искушенье,/ И от лукавого избави самомненья». Фет видит в молитве

Отче наши слова «светлее» всех других, «озаряющих человека». «Заря» и производный от неё глагол «озарить» – одно из излюбленных, ключевых слов-образов в поэтике Фета.

Переложение евангельских текстов (есть и переложение из *Апокалипсиса* – *Аввадон*) поневоле стесняет личное выражение религиозных чувств, поскольку поэт вынужден дословно следовать божественным словам. Так, он конкретно переводит трудное слово «насущный»; у него это в прямом смысле пища, полагающая человеку за труд, без всякого намёка на хлеб небесный, как толковали обыкновенно святые отцы.

Фет непосредственно ощущал Бога в природе, но прежде всего и более всего он чувствовал его в искусстве, в творческом наитии. Высшим доказательством бытия Бога для Фета служило не великолепие природы, а тот внутренний огонь, который в нём горел. И в этих произведениях Фет достигал подлинного мистического переживания: «Не тем, Господь, могуч, непостижим/ Ты пред моим мятущимся сознанием,/ Что в звёздный день Твой светлый серафим/ Громадный шар зажёг над мирозданьем// И мертвому с пылающим лицом/ Он повелел блести Твои законы,/ Всё пробуждать живительным лучом,/ Храня свой пыл столетий миллионы..// Нет, Ты могуч и мне непостижим/ Тем, что я сам, бессильный и мгновенный,/ Ношу в груди, как оный серафим,/ Огонь сильней и ярче всей вселенной,/ Меж тем как я – добыча суеты,/ Игралище её непостоянства, –/ Ни времени не знает, ни пространства» (1879 г.). Жизнь человека представляется нам в понимании поэта чем-то неизмеримо губоким и, вместе с тем, мгновенным и непостоянным. Это причина трагизма человека.

Если природа и отражает божественное бытие (*Твоя серебренная риза*, 1885 г.), то поэзия, искусство Бога влияют, позволяют человеку уподобиться Богу, беседовать с Его ангелами: «Я потрясён, когда кругом/ Гудят леса, грохочет гром/ И в блеск огней гляжу я снизу,/ Когда испугом обуян,/ На скалы мечет океан/ Твою серебрянную ризу..// Но просветлённый и немой,/ Овеян властью неземной,/ Стою не в этот миг тяжёлый,/ А в час, когда, как бы во сне,/ Твой светлый ангел шепчет мне/ Неизречённые глаголы..// Я загараюсь

и горю,/ Я порываюсь и парю/ В томленьях крайнего усилия/ И верю сердцем, что растут / Меня раскинутые крылья.» (В этих стихах Бог не назван, а лишь обозначен притяжательным местоимением «Твоя», «Твой»)

Своим направлением, своим религиозно- философскими элегиями и думами, Фет примыкает к великой христианской, духовностной традиции русской литературы, начатой Пушкиным и Гоголем, продолженной Тютчевым, Достоевским, Соловьевым, а ближе к нам Мандельштамом, Ахматовой и Солженицыным.

Imagini biblice în poezia lui F.I.Tiutcev și A.A.Fet

rezumat

Articolul tratează despre imaginile biblice prezente în creația celor doi poeți români. Poezia lor are ca fundament credința în esența divină a lumii și exprimă valori fundamentale ale moralei creștine. Deși în lirica lui Tiutcev, elementele păgâne coexistă cu cele religioase, vectorul ei principal este orientat spre divinitate, spre căutarea Creatorului în creația sa. Fet, la rândul său, renunță cântăreț al naturii, autor al unor miniaturi lirice de mare sensibilitate poetică, scrie sonete închinat Maicilor Domnului, prelucrări poetice ale rugăciunilor *Ave Maria, Tatăl nostru* și transpune în versuri episodul ispăririi Măntuitorului în pustiu, din *Evanghelia după Ioan* (cap. 8: 1-11). Prin elegiile sale filosofice, Fet aparține tradiției spiritual-creștine, începută de Pușkin și Gogol și continuată de Dostoievski, Soloviov, Ahmatova și alții.